ПОДЬЯЧИЙ ЕРШОВ • КНИГА 7

ПОЛТИНА МЕДЬЮ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ



Aleksandr Demidov

Aleksandr Demidov

Полтина медью

https://litres.ru/74722363
SelfPub; 2026

Аннотация

Казань, лето 1662 года. В марийской роще найден убитым подьячий Матвей Огарков, собиравший с деревень полтинные деньги. Государственная медь при нём, приходная книга сходится до деньги, а жители молчат. Для властей решение очевидно: взять стариков в заложники и послать в деревни стрельцов.

Но подьячий Тимофей Ершов замечает то, чего не увидит московский приказ: зарубки на счётных палках не совпадают с записями Огаркова. С людей брали серебро, а в книгу вписывали медь.

Теперь Ершову предстоит найти убийцу среди тех, кто не умеет читать, но прекрасно понимает силу бумаги, — и решить, какую правду можно отправить в Москву, не погубив невиновных.

Исторический детектив о деньгах, власти и цене честной строки — на фоне Медного бунта, когда одна запись могла стоить свободы целой деревне.

Содержание

Часть первая. Медь 4
Глава первая. Гусь 4
Глава вторая. Огарков 14
Глава третья. Сборы 26
Глава четвёртая. Арская дорога 36
Глава пятая. Сотник 46
Глава шестая. Ждать 58
Конец ознакомительного фрагмента. 62

Aleksandr Demidov
Полтина медью

Часть первая. Медь

Глава первая. Гусь

Гусь был живой и не хотел на весы.

Баба держала его под мышкой, крепко, как держат ребёнка, который сейчас вырвется, а гусь вытягивал шею, шипел на Тихона и норовил ущипнуть Ершова за рукав. Ершов стоял у весов с гирей в руке и не знал, куда её деть.

— Его взвешивать не надо, — сказала Аграфена. — По нему и так видно.

— Видно — а сколько в нём? — сказала баба. — Он жирный. Ты пощупай.

— Не буду я его щупать.

— Пощупай. Полпуда соли за него мало.

— За него — четверть, — сказала Аграфена.

— Четверть! — Баба повернулась к Ершову, как к судье, потому что Ершов был в кафтане, а кафтан на торгу значил одно: из избы. — Батюшка. Ты скажи. Четверть пуда соли за гуся. Это по-божески?

Ершов посмотрел на гуся. Гусь посмотрел на Ершова, повернув голову набок, одним глазом, круглым и злым.

— Я не знаю, сколько стоит гусь, — сказал Ершов честно.

— Вот, — сказала баба. — И он не знает.

— Никто не знает, — сказала Аграфена. — Третья часть пуда. И всё.

Баба подумала, перехватила гуся поудобнее и кивнула. Тихон взял совок, насыпал в её мешок соли, на глаз, — Аграфена посмотрела, Тихон досыпал, — и баба сунула гуся Тихону, а Тихон, не ожидавший, взял его неловко, за крылья, и гусь закричал так, что с соседнего навеса взлетели голуби.

— Домой его, — сказала Аграфена. — Фёкле.

Тихон ушёл с гусем. Гусь кричал до самого Гостиного двора.

Ершов положил гирю.

Это был третий гусь за неделю. До гусей были куры, яйца, лён, два горшка коровьего масла и бочонок огурцов прошлогоднего засола, который Аграфена взяла, понюхав, и потом три дня отдавала соседям, потому что огурцы оказались не прошлогодние, а позапрошлогодние. Был ещё один мужик из Куралова, который предлагал вместо платы три дня работы на дворе, и Аграфена его взяла, и он три дня чинил ей забор, а на четвёртый пришёл ещё за солью и сказал, что забор теперь хороший, но вот сарай…

Денег в Казани не было.

То есть деньги были — медь. Медь была везде: в кошелях,

в узлах, за пазухой, в горшках под полом. Государь не первый год платил медью всем, кому должен, — стрельцам, ратным, подьячим, ямщикам, мастерам на кремлёвской стене, — и медь расходилась по Казани, как вода по половицам. Брали поначалу по указу, как серебро, — а теперь за медь не давали ничего, потому что её никто не брал: кто продавал хлеб, тот хотел серебра, кто продавал соль, тот хотел серебра, а серебро берегли. И за одну серебряную копейку на торгу просили восемь медных, а в Москве, говорили, уже десять, и это не было ценой — это было то, что говорили шёпотом, потому что по указу медь стояла с серебром вровень, и за такой шёпот били кнутом.

Поэтому Казань меняла.

Меняли гусей на соль, соль на дёготь, дёготь на рыбу, рыбу на сено, сено на работу, работу на хлеб. Никто не называл цену, все щупали, нюхали, ругались, и под конец сходились, и никто не был доволен.

Аграфена не писала на доске больше ничего, кроме «Соль — 6 ал. пуд». Шесть алтын — её прежняя цена, по доске. Одна для меди и серебра, как велено. Её никто не платил. Её писали, чтобы она была написана.

— Огрофена Петровна, — сказал Ершов. — Мне идти.

— Иди.

Он не пошёл. Солнце поднялось над Гостиным двором и уже било под навес. Пахло рыбой с Рыбного ряда, дёгтем, нагретой пылью и солью. Из кремля, сверху, ударили к обедне

в Благовещенском, и тут же отозвались внизу Никола Тульский и Богоявление: был четверг, Бориса и Глеба.

Он стоял у весов по утрам, полчаса до избы, с самой весны. Аграфена сказала, что его кафтан у весов лучше всякого целовальника: при подьячем никто не скажет, что гиря лёгкая. Это была правда. Но гирей теперь почти не вешали. Вешали гусей. Он один раз вешал поросёнка.

И ещё он стоял у весов потому, что в избу идти не хотелось.

Не потому, что там было плохо. Там было хорошо. Вешняков сидел за дьяковым столом почти год до государева указу, указа не было, а изба при нём стала другая — тише, быстрее, суше. Отписки уходили в тот же день. Челобитные лежали не больше недели. Пантелей начал приходить к обедне, а не к обеду. Даже сторож стал мести двор утром.

Ершов не мог сказать, что плохо. Он только не мог привыкнуть, что его листы теперь возвращаются к нему с чужими чертами поперёк, ровными, как по линейке. «Коротко», — говорил Вешняков. Ершов писал коротко. Вешняков вычёркивал половину короткого.

— Тимофей Андреевич, — сказала Аграфена.

— Иду.

— Погоди. — Она смотрела мимо него, на торг.

К навесу шла женщина. Молодая — лет двадцати пяти, — в синем сарафане, линялом, в стоптанных чёботах, с ребёнком на руке и с другим за подолом. Шла, оглядываясь,

как ходят на торг люди, которые давно на торг не ходили. Ребёнок на руке спал, раскрыв рот. Тот, что за подолом, был мальчишка лет пяти, белоголовый, грязный, и он не смотрел ни на соль, ни на рыбу, а смотрел на калачи у бабы в соседнем ряду, — смотрел так, что Ершов отвёл глаза.

У женщины ничего не было в руках. Ни гуся, ни узла, ни горшка.

Она подошла к прилавку.

— Здравствуй, хозяйка. Соли мне.

— Здравствуй. Что даёшь?

— Деньги.

Аграфена подняла бровь.

— Медь — не возьму, — сказала она тихо, так, чтобы не слышал соседний ряд. — Не держу на неё товара.

— Не медь. — Женщина помолчала. — Пуд. И ещё полпуда.

Она пересадила спящего ребёнка на другую руку, левой развязала узелок на поясе и стала считать на ладони.

Серебро.

Ершов увидел это раньше, чем понял, что видит. Он увидел, как Аграфена перестала вытирать руки. Как баба с калачами в соседнем ряду повернулась. Как торговка рыбой за спиной у женщины привстала и посмотрела через плечо.

Серебра на торгу не видели с Пасхи.

Женщина считала долго, губами. Копейки были светлые, мелкие, но не такие, как бывают у мужиков с покоса, — не

стёртые до полногтя. Тёмные, будто их долго держали в тепле, в поту, на теле. Некоторые были погнуты. Она отсчитала двадцать семь — девять алтын, по доске, — ещё раз пересчитала и подала Аграфене на ладони.

Аграфена взяла их, как брала всякие деньги, не глядя, пальцем, — и на одной её палец остановился.

Она взяла эту копейку двумя пальцами и поднесла к глазам. Ершов смотрел через её плечо.

Копейка была пробита. С краю, над головой всадника, — маленькая дырочка, ровная, круглая, будто шилом. В дырочке, как в ушке иглы, застрял обрывок нитки — тёмной, красной или бурой, не разобрать.

— Это откуда? — спросила Аграфена. Не строго — так, как спрашивают, откуда рыба.

— Мужнина, — сказала женщина. — Муж из уезда привёз. Вчера. — Она помолчала. — Жалованье.

— Жалованье, — сказала Аграфена.

— Жалованье. — Женщина смотрела ей в глаза. — Он стрелец. Ефрем Култышев. Стрелецкая слобода, у Арского. Его всякий знает.

— Стрельцам жалованье медью, — сказала Аграфена.

— Нам — медью, — сказала женщина. — А ему в уезде дали. Он с подьячим ездил, по деревням, провожатым. Подьячему — сбор, ему — провожатое. — Она кивнула на копейки. — Не возьмёшь — скажи. Я к другой пойду.

К другой идти было некуда. Сабуровский двор с прошлой

осени стоял за приставом, и соль в Казани была одна — эта. Обе это знали.

— Возьму, — сказала Аграфена. — Серебро есть серебро.

Тихона не было — Тихон носил гуся. Аграфена сама взяла совок и насыпала полтора пуда, с горкой. Ершов взвесил — ровно, и немного сверху. Женщина подняла мешок одной рукой — ребёнок на другой так и не проснулся — и пошла.

Мальчишка, уходя, всё оглядывался на калачи.

Аграфена посмотрела ему вслед. Потом взяла из ящика одну копейку — простую, целую — и протянула Ершову.

— Догони, — сказала она. — Калач малому.

Ершов посмотрел на копейку.

— Я?

— Тихона нет.

Ершов взял копейку и пошёл — не побежал, подьячему на торгу бегать не годится, — пошёл быстро, через Рыбный ряд, мимо калачницы, и купил у неё калач, большой, тёплый, — калачница взяла серебро и посмотрела на Ершова так, будто он принёс ей икону, — и догнал женщину у Гостиного двора, и сунул калач мальчишке в руки.

Мальчишка схватил калач обеими руками и сразу откусил, не глядя, кто дал.

Женщина обернулась. Увидела кафтан. Лицо у неё стало не благодарное, а настороженное.

— Это хозяйка, — сказал Ершов. — Соляная.

Женщина ничего не сказала, кивнула коротко и пошла

дальше, таща за руку мальчишку, который ел на ходу, роняя крошки в пыль.

Ершов вернулся к навесу.

Аграфена стояла у прилавка и вытаскивала ногтем нитку из пробитой копейки. Вытащила, бросила под прилавок, завернула копейку в тряпицу и положила не в ящик, а в кошель на поясе.

— Ты чего? — спросил Ершов.

— Ничего. Дырявую на торгу не возьмут. — Аграфена затянула кошель. — Весом возьмут. Серебро всё одно.

— Она сказала — с подьячим ездил.

— Слышала.

— С каким подьячим?

— Тебе лучше знать. Ты в избе сидишь, не я. Кого посылали?

Ершов подумал.

Посылали в начале месяца двоих: одного по Ногайской дороге, другого по Арской, — брать с дворов полтинные деньги по государевой грамоте. Сбор был новый, ратный: со всякого двора, который не служит, по полтине, на жалованье ратным людям, — и брать велено было медью, потому что медью государь и платил ратным. Так медь шла из уезда в Казань, а из Казани обратно, ратным, и, как сказал Пантелей, до Москвы не доезжала ни копейки, — Москве от этого сбора была одна бумага. По Ногайской поехал Степан Рукавишников и уже вернулся. По Арской, к черемисе, — Огар-

ков. Матвей Огарков, сосед Ершова по лавке. Вешняков сам его выбрал. Ершов помнил, как Вешняков сказал: «Огаркова. Огарков пишет коротко».

Огарков не вернулся. Ершов не помнил, чтобы кто-то об этом говорил. Ершов вообще не думал об Огаркове с тех пор, как тот уехал, — разве что радовался, что на лавке стало просторнее.

— Огаркова, — сказал он.

— Вернулся?

— Не знаю. — Ершов помолчал. — Стрелец, выходит, вернулся. Вчера.

Аграфена ничего не сказала. Она взяла тряпку и стала вытирать прилавок — там, где лежало серебро, где ничего уже не было.

— Им сбор медью велено брать? — спросила она немного погодя.

— Медью.

— А стрелец жене принёс серебро. — Она провела тряпкой ещё раз. — В поту держанное. Это не жалованье. Жалованье в поту не держат, его сразу несут.

— Может, копил.

— Может, — сказала Аграфена. — Стрелец — копил. С двумя малыми. — Она сложила тряпку. — Иди. Опоздаешь.

Ершов пошёл.

Он прошёл Рыбный ряд, где торговки меняли окуней на яйца и ругались из-за того, сколько яиц за окуня, — одни и

те же слова, одним и тем же голосом, — прошёл мимо Моховой будки, где Мохов отпускал квас в долг, под запись мелом на двери, и запись была уже до самой притолоки, — прошёл мимо Гостиного двора, у ворот которого Тихон, вернувшись без гуся, сидел на корточках и пересказывал кому-то, как гусь ущипнул Фёклу, — и Тихон его не заметил, — и стал подниматься к кремлю, по взвозу, по жаре, в кафтане.

На середине взвоза он остановился.

Шапки на нём не было.

Он постоял, подумал, — до избы было ближе, чем до лавки, — и пошёл назад.

Аграфена стояла под навесом. Шапка лежала на весах, на той чашке, у которой он стоял, и чашка с шапкой опустилась, а пустая поднялась.

— Фунт, — сказала Аграфена. — Твоя шапка.

— С пылью.

— С пылью, — согласилась она и подала ему шапку. — Теперь точно опоздаешь.

Глава вторая. Огарков

Ершов опоздал не намного — к тому времени, как он поднялся в избу, обедня в Благовещенском ещё не отошла, — но опоздал, и это было видно по тому, что все уже сидели.

Вешняков сидел за дьяковым столом. Пантелей — за своим, у печи, над книгой. Рукавишников, вернувшийся с Ногайской дороги на прошлой неделе, — на лавке, где у него был угол, загорелый, облупленный, с повязанной тряпкой шеей: его в дороге покусали слепни. Сторож спал у двери на табурете. Огарковское место у окна — рядом с Ершовым, по той же лавке, — было пустое: чернильница, закрытая тряпицей, нож, песочница, связка перьев, перетянутая ниткой, как Огарков всегда перетягивал, чтобы не растащили.

У двери стоял стрелец.

Ершов прошёл к своему окну, снял шапку, положил её на подоконник, где тёмное пятно, — и только тогда понял, что все молчат, потому что ждали его.

— Тимофей Андреевич, — сказал Вешняков. — Садись.

Ершов сел.

— Ефрем. — Вешняков повернулся к стрельцу. — Сначала. Как голове говорил.

Стрелец шагнул от двери. Он был невысокий, широкий, с короткой шеей, в синем стрелецком кафтане, вытертом на плечах до белизны, без бердыша — бердыш он оставил у сто-

рожа, сторож его так и держал во сне, обняв, — и с обветренным, тёмным лицом, на котором светлые брови казались наклеенными. Лет ему было за тридцать. Он держал шапку обеими руками у живота и говорил ровно, глядя Вешнякову в стол, как говорят люди, которые одно и то же рассказали уже два раза и знают, где будут спрашивать.

— Выехали на Казанскую, восьмого числа, — сказал он. — Я и подьячий. Он на телеге, я верхом. Ехали по Арской, на Арск, потом в сторону, к черемисе, в Шудерсольскую сотню. Там деревень шесть. Ходили по дворам. Сотник с нами ходил. Подьячий брал полтины, писал. Я при нём стоял. — Он помолчал. — Ничего не было. Черемиса давала. Не все сразу — кто сегодня, кто завтра, кто через сотника. Но давали.

— Медью, — сказал Вешняков.

— Медью. Как велено.

— Сколько собрали?

— Не знаю, — сказал стрелец. — Я грамоте не умею. Он считал. У него книга. — Он показал руками что-то размером с половину столешницы. — И сумка. Сумку он с плеча не снимал. Спал с ней. Я ему говорю: дай, понесу, — он не даёт.

Ершов это знал. Огарков ничего никому не давал. Перья перетягивал ниткой.

— Дальше.

— В последней деревне, в Шудерсоле, — там у них роща. Кереметь. — Стрелец сказал это слово так, как говорят на посаде «кабак»: зная, что это, и не одобряя. — Под самой де-

ревней, за полем. Большая. Липы, дубы. Сотник сказал: туда не ходить. Им туда нельзя без дела, а нам — никак нельзя. Подьячий сказал: ладно. — Он помолчал. — Двадцатого числа это было. В воскресенье. Ильин день. Мы кончили в Шудерсоле к вечеру и хотели наутро ехать назад. Подьячий сел у телеги, пересчитал, записал. Потом встал и пошёл. Я говорю: куда? Он говорит: по нужде. И пошёл. В ту сторону. — Он кивнул куда-то вбок, в стену, будто роща была за стеной избы. — К роще. С сумкой.

— По нужде — с сумкой, — сказал Вешняков.

— С сумкой. Он её не снимал.

— И?

— И не пришёл. — Стрелец поднял глаза от стола. — Я ждал. Стемнело. Я пошёл туда — по полю, до края. Кричал. Ничего. В рощу не пошёл. Ночь была, и… — Он не договорил. — Утром пошёл к сотнику. Сотник собрал мужиков. Пошли к роще. Они вошли, а меня не пустили. Встали поперёк, вот так, — он развёл руки с шапкой, — и не пускают. Сотник сказал: нельзя тебе. Мы сами. Они ходили до обеда. Вышли, сказали: нет его. Нигде нет. — Он помолчал. — Я ещё день ждал. Они больше в рощу не ходили и меня не пускали. Мужики на меня смотрели… — Он поискал слово. — Нехорошо. Сотник сказал: езжай в Казань, скажи. Я поехал.

— Один.

— Один. Телегу подьячего там оставил, у сотника. Лошадь его — там же. Я на своей. — Он помолчал. — Что я

там один сделаю? Их деревня.

Вешняков ничего не сказал.

В избе было слышно, как Пантелей скребёт ногтем по странице: он всегда скрёб, когда слушал.

— Голове сказал, — сказал Вешняков. — Голова тебя ко мне прислал. Так?

— Так.

— Что голова сказал?

Стрелец замялся.

— Говори.

— Голова сказал: черемиса подьячего убила. — Стрелец смотрел в стол. — За кереметь. Что он туда вошёл, а им нельзя, и они его… — Он не договорил. — Голова сказал, у них такое бывает. Что они там скотину режут и кровь льют, и что если кто чужой войдёт…

— Голова там был?

— Нет.

— А ты что думаешь?

Стрелец помолчал. Потом сказал:

— Я не знаю, что думать. — Он сказал это просто, без нажима. — Я его не видел, как он вошёл. Видел — пошёл. Потом — нет его. Они меня не пустили. Вот что видел.

Ершов смотрел на него и думал, что так говорят люди, которые не врут. Или люди, которые врут очень давно и хорошо. Он не умел отличить одно от другого и не знал никого, кто умел.

— Ступай к сторожу, — сказал Вешняков. — Жди.

Стрелец поклонился, вышел. Было слышно, как он будит сторожа, чтобы забрать бердыш, и как сторож, проснувшись, не хочет отдавать.

Вешняков посмотрел на Ершова.

— Огарков, — сказал он.

— Слышал.

— Ты с ним рядом сидел.

— Сидел.

— Что за человек?

Ершов подумал.

Он сидел с Огарковым рядом третий год — с тех пор как Огаркова взяли в избу из Устюга, — и не знал о нём почти ничего. Знал, что Огарков пишет быстро и чисто. Знал, что Огарков всегда кончает раньше и потом сидит и ждёт, сложив руки, и смотрит, как Ершов пишет, и иногда говорит: «Ты, Тимофей Андреевич, как будто на кругу кожу тянешь». Знал, что у него мать на посаде, у Проломной, и что по субботам он ходит к матери. Знал, что он должен Пантелею два алтына, а Рукавишникову — гривну, и сколько-то ещё кому-то на торгу. Знал, что он хотел в Москву, в приказ, в любой, — и что Вешняков ему это когда-то сказал: годишься. Знал, что Огарков любит пироги с горохом и не любит с рыбой.

Это было всё. Три года.

— Пишет коротко, — сказал Ершов.

Вешняков посмотрел на него. Ершов не отвёл глаз, но и не стал объяснять, — он сказал правду, и правда была такая.

— Пишет коротко, — согласился Вешняков. Он не обиделся. — Поэтому я его и послал. Сбор новый. Черемиса по-русски не читает. Надо было записать быстро, двор за двором, полтину за полтиной, и чтоб в книге было видно, кто дал, кто нет, — без лишнего. Огарков так пишет. Ты бы им там житие каждого двора написал.

— Написал бы, — сказал Ершов.

— Вот. — Вешняков постучал пальцем по столу. Потом сказал, не меняя голоса: — Пантелей. Найди мне память, что я ему давал. С какого дня, по каким деревням.

Пантелей встал, кряхтя, и пошёл к ларю.

Воевода вошёл, когда Пантелей ещё рылся в ларе.

Он вошёл не так, как входил при дьяке, — медленно, обмахиваясь, через сени, с остановками, — а сразу, быстро, будто за ним гнались: распахнул дверь, перешагнул порог и встал. Он был без платка. Лицо у него было красное, мокрое, и Ершов сначала подумал — жара, а потом понял: нет, не жара.

Все встали.

— Ефим Ларионович, — сказал воевода. — Мне голова сказал.

— Знаю. Стрелец у сторожа.

— Подьячий.

— Подьячий, — сказал Вешняков. — Огарков. С полтин-

ными деньгами.

— С государевыми деньгами! — Воевода не сел. Он ходил — от двери к печи, от печи к двери, три шага туда, три обратно, — и все в избе стояли и поворачивали головы за ним. — Черемиса убила государева подьячего с государевыми деньгами. На сборе. Ты понимаешь, что это? — Он остановился. — Из Уфы пишут, что башкирцы неспокойны. Что в Закамье шатость. Что татары по Ногайской дороге слушают, что им из-за Камы говорят. А тут черемиса подьячего в своей керемети… — Он не договорил. — Полусотню. Сегодня. Голове скажу. Сотника — сюда, в железах. Из деревни — пятерых в аманаты, лучших, стариков. Рощу их…

Он опять не договорил. Никто в избе не знал, что он хотел сказать про рощу. Может быть, он и сам не знал.

Вешняков стоял за столом.

— Государь воевода, — сказал он. — Пошлёшь полсотни — привезёшь бунт.

Воевода остановился.

— Что?

— Полсотни стрельцов в черемисскую сотню в июле, — сказал Вешняков, — когда у них покос, когда сбор только взяли — по полтине со двора, медью, за которую им на торгу ничего не дадут, — и взять пятерых стариков в железа. — Он говорил ровно, не повышая голоса, будто читал вслух выписку. — Государь воевода. Мы не знаем, убит ли он. Мы знаем, что он пошёл к роще и что стрелец его больше не ви-

дел. Это всё, что мы знаем. — Он помолчал. — Если он убит — найдём. Если не убит — найдём тоже. Но если пошлём полсотни, а он, к примеру, утонул в болоте, — мы черемисе дадим причину. А у неё, как ты сам говоришь, и без нас за Камой советчики.

Воевода смотрел на него.

— А если убит?

— Тогда возьмём того, кто убил. Одного. Не пятерых.

— А сбор?

— Сбор был при Огаркове. — Вешняков помолчал. — Найдём Огаркова — узнаем, где сбор.

Воевода долго молчал. Потом сел на лавку, на то место, где сидел всегда, — у дьякова стола, сбоку, — и вытер лицо рукавом, потому что платка у него не было.

— Кого пошлёшь? — спросил он.

— Одного человека. С толмачом. И Култышева — для чести, не для боя. Он дорогу знает и сотника знает.

— Кого?

Вешняков повернул голову.

— Тимофей Андреевич, — сказал он.

Ершов это знал. Он понял это ещё тогда, когда Вешняков спросил его, что за человек Огарков, — и даже, может быть, раньше, когда все ждали, пока он сядет.

— Почему я? — спросил он всё равно.

— Потому что ты долго пишешь, — сказал Вешняков. — Там надо долго.

Рукавишников на лавке хмыкнул и тут же сделал вид, что кашлянул.

— Ибрагима с тобой, — сказал Вешняков. — Сотник, говорит Култышев, по-татарски знает, а по-русски говорит так, как я по-черемисски. Черемисского толмача в избе нет. Онисим в воеводской избе по-черемисски знает три слова, и два из них, я думаю, бранные. — Он помолчал. — Ибрагим с сотником договорится. А с деревней — как Бог даст.

— Когда?

— В субботу. Завтра соберись. — Вешняков посмотрел на воеводу. — Государь воевода. Я отпишу сам. Что послан сыщик, а не полусотня. И почему.

Воевода сидел и смотрел в пол. Потом поднял голову.

— Отпишешь сам, — сказал он. — И отвечать будешь сам. — Он встал. — Не найдёт за две недели — пошлю полусотню. Без тебя.

— Две недели, — сказал Вешняков.

Воевода ушёл. Дверь за ним осталась открытой, и в избу потянуло жаром со двора, и стало слышно, как у колодца гремит ведро.

Пантелей стоял у ларя с листом в руке. Он стоял так, видно, всё время, пока говорил воевода, — не решаясь подойти.

— Нашёл, — сказал он.

Вешняков взял у него лист, прочёл — быстро, по-своему, сверху вниз, не шевеля губами, — сложил вдвое и положил не на стол, не в стопку, где лежали памяти, а в ящик своего

стола. Задвинул ящик.

Ершов это видел. Пантелей это видел. Рукавишников, кажется, не видел: он развязывал тряпку на шее и шипел.

Никто ничего не сказал.

— Тимофей Андреевич, — сказал Вешняков. — Возьми у Пантелея роспись деревень, сколько дворов, кто сотник. С Култышевым поговори. Кормовые получишь у Пантелея на троих, на две недели. — Он помолчал. — И к Огарковой зайди. К матери. Она вчера приходила. Скажи — ищем.

— Я?

— Ты с ним рядом сидел.

Ершов ничего не ответил.

Мать Огаркова жила у Проломной, в переулке, в избе на одно окно, и Ершов шёл к ней после обеда, по жаре, и всю дорогу думал, что ей скажет, и не придумал.

Он ничего ей не сказал. Сказала она.

Она была маленькая, сухая, в чёрном — не по сыну, а так, по вдовству, давнему, — и встретила его у ворот, будто ждала у ворот с утра. Она не спросила, кто он. Она посмотрела на кафтан и сказала:

— Из избы.

— Из избы.

— Матюшу ищете?

— Ищем.

— Ищите, — сказала она. — Найдёте — скажите ему: пирог с горохом у меня в печи с субботы. Засох уж. Пусть не

ругается. Новый спеку.

И пошла в избу, и закрыла дверь.

Ершов постоял у ворот. Потом пошёл назад.

Култышев ждал его у Спасских ворот. Он сидел на камне у стены, в тени, с бердышом на коленях, и, увидев Ершова, встал.

Пахом-воротник, в своей будке, повернул к ним правое ухо.

— Подьячий, — сказал Култышев. — Мне голова сказал — с тобой ехать.

— Со мной.

— Когда?

— В субботу. С рассветом. От Арских ворот.

Култышев кивнул. Подумал.

— Кормовые как дадут? Медью?

— Медью.

— Тогда я хлеба своего возьму, — сказал Култышев. — Там на медь не продадут. — Он подумал ещё. — И тебе, подьячий, совет: возьми серебра, если есть. Хоть немного. Там, в уезде, медь — что щепки. Я в этот раз видел.

— Спасибо, — сказал Ершов.

— Не за что, — сказал Култышев, закинул бердыш на плечо и пошёл к Арским воротам, к себе в слободу, широкой, неторопливой, чуть косолапой стрелецкой походкой, — и Пахом смотрел ему вслед, повернув голову, пока тот не свернул за угол.

— Хороший стрелец, — сказал Пахом. — Мне в Петровки рыбу носил.

— Какую?

— Леща. — Пахом подумал. — Хорошего леща. Медью я ему дал. Он взял.

Глава третья. Сборы

— Сапоги вторые, — сказала Аграфена.

— Не надо.

— Надо. — Она положила вторые сапоги на лавку, к мешку. — Там болото.

— Там не болото. Там деревни.

— Деревни на болоте. — Аграфена взяла из сундука рубаху, посмотрела на свет, нашла дырку под мышкой, отложила, взяла другую. — Огарков утонул в болоте, ты слышал. Вешняков сам сказал.

— Вешняков сказал — «к примеру».

— Вот. К примеру. — Рубаха легла на сапоги. — Онучи. Две пары. Нет, три.

Ершов сидел на лавке у стола и смотрел, как его собирают.

Собирали его с обеда. Он вернулся из избы рано — Вешняков отпустил, сказав, что в избе ему делать нечего, пусть собирается, — и застал Аграфену уже дома, хотя лавку она закрывала, когда солнце уходило за Гостиный двор, не раньше. Лавку закрыл Тихон. Аграфена с полудня стояла в горнице над раскрытым сундуком — его, Ершовым сундуком, который год назад прикатили от Акулины на тачке, — и вынимала из него всё, что в нём было, и раскладывала по лавкам, и смотрела на каждую вещь так, как смотрела на соль, которую ей привозили с Камы: сколько здесь, и какая, и не

подмочена ли.

Сундук был почти пустой. За год в нём ничего не прибавилось, кроме свадебного кафтана, который Аграфена туда не клала, потому что свадебный кафтан в дорогу не берут, и Ершов не понимал, зачем она вынула его и повесила на гвоздь.

— Проветрить, — сказала Аграфена, хотя он не спрашивал. — Раз вынула.

Фёкла пришла из сеней с горшком, поставила его на стол и тоже стала смотреть, как собирают.

— Дёготь, — сказала Фёкла.

— Не надо дёготь, — сказал Ершов.

— Там комар, — сказала Фёкла. — Мой брат в Арском остроге служил, в поле стоял. Говорит, комар там — с воробья. Без дёгтя к утру лица нет. Одна шишка.

— Я не буду мазаться дёгтем.

— Будешь, — сказала Аграфена, не оборачиваясь. — Фёкла, налей ему в рожок. В тот, что от пороха.

— От пороха пахнет.

— От дёгтя тоже пахнет. Одно другое перебьёт.

Фёкла ушла за дёгтем. Ершов вздохнул.

Он знал, что спорить с Аграфеной о вещах бесполезно, — это он понял ещё в первую зиму, когда пытался отстоять свою старую шубу, которую Аграфена назвала «псиной» и отдала Тихону, и Тихон носил её до весны, и шуба ему была по колено, — и всё-таки спорил, потому что, пока спорили

о сапогах и дёгте, можно было не говорить о другом.

О другом они не говорили.

Год. Без месяца почти. Он ни разу никуда не уезжал за этот год дольше чем на день — в Свияжск с отпиской и назад, в Нижний Услон к монастырскому старцу за сказкой и назад, — и всякий раз возвращался к ночи, мокрый или пыльный, и Аграфена встречала его у ворот или не встречала, смотря по тому, что было в лавке. Теперь он уезжал на две недели. Воевода дал две. Аграфена, когда он сказал ей про две, посмотрела на него, подумала и сказала: «Значит, три». И больше про это ничего не сказала.

Она вынула из сундука Псалтирь, подержала, положила обратно.

— Псалтирь не берёшь?

— Не беру.

— Возьми. Читать будешь.

— Когда?

— Когда ждать будешь. — Она опять вынула Псалтирь. — Ты там будешь ждать. Черемиса тебя ждать заставит. Им торопиться некуда, они у себя дома. Это ты к ним пришёл. — Она положила Псалтирь на рубаху. — Мой первый к черемисе за мёдом ездил. Один раз. Неделю ждал, пока ему сказали, что мёда нет. А мёд был. Им просто не хотелось.

Ершов посмотрел на неё. Она редко говорила о первом муже, и всегда так — между делом, через вещь, будто он был не человек, а мера: один раз ездил, неделю ждал.

— А потом? — спросил он.

— Потом дали. — Аграфена пожала плечами. — Через неделю. Он им понравился, сказал. Они его неделю смотрели, а потом он им понравился. — Она подумала. — Ты им не понравишься.

— Почему?

— Ты пишешь.

Ибрагим пришёл к ужину, как приходил теперь почти каждый вечер с тех пор, как Байбулатовы съехали за Казанку, — без стука, через двор, мимо Мурки, которая его не любила и всегда отходила в сторону, когда он шёл, — и сел на лавку у двери, на своё место, и Фёкла, не спрашивая, поставила перед ним миску.

Он ел молча, долго, как ел всегда, обстоятельно, по-татарски, — сначала хлеб, потом всё остальное, — и, только доев, вытер миску коркой и сказал:

— Не поеду.

— Поедешь, — сказал Ершов.

— Поеду, — согласился Ибрагим. — Но не хочу. — Он поставил миску на лавку. — Ты знаешь, как черемиса татар любит?

— Как?

— Как ты дёготь. — Ибрагим кивнул на рожок, который Фёкла принесла и поставила на стол, рядом с горшком, и от рожка по горнице уже шёл густой, чёрный, лесной запах. — Они нас помнят. Мы у них сто лет брали. Ясак брали, людей

брали, мёд брали, землю. Казанский хан брал, мурзы брали. Потом пришли вы и тоже стали брать, только вы пишете, а мы не писали. — Он подумал. — Они, может, вас даже больше любят. Вы хоть пишете, сколько взяли.

— А сотник по-татарски знает.

— Знает. Потому и знает, что мы у них брали. — Ибрагим взял корку, которой вытер миску, и съел её. — Он со мной говорить будет. А думать будет — вот татарин пришёл. Опять.

— Ты крещёный.

— Это ты знаешь, что я крещёный. — Ибрагим посмотрел на Ершова. — А он посмотрит на меня и увидит то, что увидит.

Онисим пришёл, когда уже зажгли лучину.

Он пришёл не через двор, как Ибрагим, а через ворота, постучав, и долго ждал, пока Тихон откроет, и вошёл в горницу, сняв шапку ещё в сенях, и поклонился образам, потом Аграфене, потом Ершову, потом — помедлив — Ибрагиму. Он был в своём всегдашнем тёмном кафтане, длинный, сухой, лет пятидесяти, с длинным лицом, и держал под мышкой свёрнутый лист.

— Огрофена Петровна. Тимофей Андреевич. — Он помолчал. — Ибрагим.

— Онисим, — сказал Ибрагим.

После прошлого лета они называли друг друга по имени и без отчества, и Онисим каждый раз произносил это «Иб-

рагим» так, будто ставил подпись под чем-то важным, а Ибрагим отвечал ему коротко, как пароль. Ершов так и не понял, друзья они или нет. Аграфена говорила, что друзья: у мужчин дружба и есть, когда двое не знают, о чём говорить, и всё равно говорят.

— Я слышал — едете, — сказал Онисим. — К черемисе.

— Едем.

— Я принёс. — Онисим развернул лист и положил на стол, под лучину, рядом с дёгтем. — Тут слова. Черемисские. — Он посмотрел на Ибрагима. — Ты по-черемисски не знаешь.

— Не знаю.

— Я тоже не знаю, — сказал Онисим. — Но у воеводы на дворе ярыжка есть, черемисин, из-под Царёвококшайска, крещёный, Петрушкой зовут. Я у него с обедни сидел. Спрашивал, он говорил, я записывал. — Он провёл длинным пальцем по листу. — Тут сорок слов. По-русски — и как поихнему. Хлеб, вода, лошадь, дорога, дай, не дам, где, когда, сколько, день, ночь…

Ибрагим взял лист, поднёс к лучине и стал читать — медленно, шевеля губами.

— «Кугыза», — прочёл он. — Это что?

— Это — «старик», — сказал Онисим. — Почтенный. Так у них говорят старшему. Петрушка сказал: сотнику так говорить, ему понравится.

— А сотник старый?

Онисим подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Петрушка не говорил.

Ершов посмотрел на Ибрагима. Ибрагим посмотрел на Ершова.

— Спасибо, Онисим, — сказал Ибрагим и сложил лист вчетверо, бережно, и положил себе за пазуху. — Пригодится.

Онисима посадили за стол. Фёкла поставила ему миску — щи, постные, пятница, — и он ел, держа ложку так, как держат перо, тремя пальцами, и рассказывал Ибрагиму, как его молодым приставили в Москве к калмыцким послам и он записывал у них слова, и как один посол научил его калмыцкому слову, которое Онисим потом сказал другому послу, и того посла пришлось отпаивать, — и Ибрагим слушал, кивал, и спрашивал, что за слово, и Онисим отвечал, что не скажет, потому что дал себе зарок.

Аграфена сидела на сундуке и шила.

Она зашивала дырку под мышкой у той рубахи, которую отложила, — хотя рубаху эту в мешок уже не положила и класть не собиралась, — и Ершов смотрел, как она шьёт, и думал, что надо бы ей что-нибудь сказать, и не знал что.

— Тот стрелец, — сказала Аграфена, не поднимая головы. — Он с тобой едет?

— Култышев. Едет.

— Жена у него — та, вчерашняя. С калачом.

— Знаю.

— Я про копейку думала. — Она перекусила нитку. — Ту,

дырявую. Нитка в ней была. Красная. Такую нитку…

— Огрофена, — сказал Ершов. — Ты уже говорила.

Аграфена подняла голову и посмотрела на него.

Он сказал это не грубо. Он сказал это устало — потому что весь день думал об Огаркове, о матери Огаркова с её пирогом, о ящике Вешнякова, о воеводе без платка, о двух неделях, о том, что он не знает, как разговаривать с людьми, которые не говорят по-русски и не хотят с ним говорить ни на каком языке, — и копейка с ниткой была последнее, о чём он сейчас мог думать.

— Говорила, — согласилась Аграфена.

И больше ничего не сказала. Опустила голову, взяла другую рубаху и стала искать на ней дырку, которой на ней не было.

Онисим посмотрел на Аграфену, потом на Ершова, потом в миску. Ибрагим вытер усы.

— Онисим, — сказал Ибрагим. — А «спасибо» как по-ихнему?

Онисим полез за пазуху к Ибрагиму, будто за своим, вспомнил, что лист уже не его, и сказал:

— Там есть. Седьмое слово.

Ночью Ершов долго не спал.

Было душно. Окно в горнице было открыто — Аграфена всегда открывала летом, — и с Булака тянуло сыростью, а со двора — дёгтем, потому что рожок Фёкла поставила на окно, чтобы в горнице не пахло, и теперь пахло и в горнице,

и во дворе, и, наверное, на всей улице. Где-то у Кабана выли собаки. Под окном Тихон, которому было жарко в сенях, спал на телеге и храпел.

Аграфена лежала к нему спиной.

Он не знал, спит она или нет. Он хотел спросить. Не спросил.

— Серебро в шапке, — сказала Аграфена в темноту, не поворачиваясь. — Под подкладкой. Зашила.

— Сколько?

— Сколько есть. — Она помолчала. — Привезёшь, что останется. Я сосчитаю.

— Я не потрачу.

— Потратишь, — сказала Аграфена. — Там медь не берут. Ты сам видел — у меня не берут, а там тем более. — Она подумала. — Не трать на глупости. Трать на дело.

— На какое?

— Сам поймёшь, — сказала Аграфена и, кажется, сразу уснула.

Выезжали в субботу, с рассветом, от Арских ворот.

Ибрагим опоздал. Култышев был уже там — верхом, на своём мерине, рыжем, с белой звездой, с бердышом поперёк седла и с мешком хлеба за спиной, — и, увидев Ершова, снял шапку. Ершову дали казённую лошадь из воеводской конюшни — серую, старую, с провисшей спиной и равнодушными глазами, — и конюх, подводя её, сказал: «Смирная. Ты её не торопи, подьячий. Она не любит». Ершов ездил

верхом плохо и сам не любил, когда торопят, так что они с лошадью, кажется, сразу поняли друг друга.

Ибрагим пришёл пешком, ведя свою лошадь в поводу, — у неё сбилась подкова, и он полночи искал кузнеца, — и сразу, ещё не дойдя, потянул носом.

— Дёготь, — сказал он.

— Дёготь, — сказал Ершов.

— И гусь.

— И гусь.

Гуся Фёкла зажарила с вечера и завернула в холстину, и теперь он лежал у Ершова в сумке, поверх дёгтя, и пах сквозь холстину так, что серая лошадь всё время поворачивала голову и смотрела на сумку.

— Тот? — спросил Ибрагим.

— Тот, — сказал Ершов. — Фёкла сказала: ущипнул — получил.

Култышев засмеялся — коротко, хорошо, по-стрелецки, — надел шапку и повернул мерина к Арскому полю.

Глава четвёртая. Арская дорога

К полудню Ершов понял, что не чувствует ног, а к вечеру — что лучше бы не чувствовал.

Серая лошадь шла шагом. Она шла шагом с самых Арских ворот и, кажется, не знала, что можно ехать быстрее. Ершов её не торопил — конюх сказал не торопить, — и она это ценила: шла ровно, мерно, опустив голову, и каждые полверсты останавливалась, чтобы сорвать с обочины пучок травы, и Ершов ждал, пока она сорвёт. Култышев сначала оглядывался, потом перестал оглядываться и стал отъезжать вперёд, до поворота, и там ждать, стоя в тени, — а когда Ершов доезжал, снова трогался. Ибрагим ехал рядом с Ершовым и молчал.

Арское поле кончилось сразу за последними огородами, и дальше пошли поля чужие — рожь, высокая, уже желтеющая, овёс, ещё зелёный, гречиха в цвету, — потом лес, потом опять поля, потом опять лес. Дорога шла то по солнцу, то по тени, и на солнце было так, что на кафтане, на плечах, выступала соль, а в тени налетали слепни.

Слепни были серые, длинные, тихие. Они садились беззвучно и кусали сразу, без примерки, — в шею, в запястье, в щиколотку между онучей и сапогом, — и после укуса шла кровь, и место вспухало, и чесалось до вечера. Лошадям доставалось больше. Серая лошадь мотала головой и хлестала

себя хвостом по бокам, и хвост попадал Ершову по ноге, и Ершов терпел.

— Дёготь, — сказал Ибрагим к полудню.

— Что?

— Ты мажешься?

— Нет.

— Почему?

— Пахнет.

Ибрагим посмотрел на него, на его шею, на которой уже было четыре вздутых пятна, и ничего не сказал. Потом, к вечеру, когда слепни ушли, а из леса потянуло сыростью и вышел комар, Ибрагим подъехал вплотную и сказал: «Дай». Ершов дал ему рожок. Ибрагим вылил дёготь себе на ладонь и намазал лицо, шею, руки — густо, как мажут колесо, — и вернул рожок, и Ершов, посмотрев на него, на его чёрное, блестящее, довольное лицо, тоже намазался.

Култышев, дождавшись их у поворота, посмотрел на обоих и ничего не сказал. Он мазался с утра.

Ночевали в деревне у дороги, верстах в тридцати от Казани, у русского мужика, который за постой не взял ничего, потому что Култышев у него в прошлый раз ночевал тоже и мужик его помнил. Изба была курная, низкая, полная детей и мух. Ершов слез с лошади и не смог сразу стоять — ноги не сходились, будто между ними так и осталось седло, — и стоял, держась за луку, пока не прошло, а Култышев снимал с мерина вьюк и не смотрел на него, из вежливости.

— Первый день так, — сказал Култышев, не оборачиваясь. — На второй хуже. На третий привыкнешь.

— А если не привыкну?

— Тогда приедем, — сказал Култышев.

Поели гуся.

Гусь за день пропах дёгтем насквозь — Фёкла завернула его в холстину, а холстину Ершов положил на рожок, и рожок, видно, подтекал, — и есть его было как есть смолёную лодку. Ибрагим отрезал себе ногу, понюхал, сказал: «Ничего» — и съел. Култышев съел крыло и сказал, что такого гуся он не ел даже в походе. Хозяйские дети смотрели на гуся с полатей, и Ершов отдал им остов, и дети ели его в темноте, грызли, и было слышно, как трещат кости.

Ночью Ершов лежал на лавке, на животе, потому что на спине лежать было нельзя, и слушал, как храпит Култышев на полу и как Ибрагим во сне говорит что-то по-татарски.

— Тимофей Андреевич, — сказал Ибрагим в темноте, уже не во сне.

— Что?

— Ты ей вчера не дал сказать.

Ершов не ответил.

— Про копейку, — сказал Ибрагим. — Она про копейку хотела. Ты сказал: говорила. Она замолчала.

— Она уже говорила.

— Я знаю, что говорила. — Ибрагим помолчал. — Я тоже жене так говорю. Потом жалею.

— Ты жалеешь?

— Особенно после слов «я же говорила», — сказал Ибрагим и отвернулся к стене.

На второй день было хуже.

Култышев не соврал. Утром Ершов сел в седло, как садятся на раскалённую сковороду, и первые две версты ехал стоя в стременах, а потом устал стоять и сел, и с тех пор сидел, глядя перед собой и думая о посторонних вещах: о мостовых на Проломной, о том, что в избе сейчас Пантелей опять опоздал к обедне, о том, сколько дворов в Шудерсольской сотне по росписи, — сто двадцать шесть, — и сколько это будет полтин, и сколько это будет в рублях, — шестьдесят три, — и какой это будет мешок, если медью: небольшой, фунтов семь, но тяжёлый. И почему Огарков не снимал его даже во сне, будто боялся оставить.

Култышев ехал впереди, но уже не уезжал. Он, кажется, понял, что серую лошадь не переждёшь, и приноровился к ней: ехал на полкорпуса впереди, и говорил, не поворачивая головы, и Ершов слышал его хорошо, потому что в лесу было тихо.

Култышев говорил о дороге.

Он знал её всю. Знал, где брод и где нет, где после дождя проезжая колея, а где топь, где деревня русская, где татарская, где чувашская, где можно напоить лошадей, а где колодец с гнилой водой, и кто в какой деревне староста, и у кого в какой деревне собака злая. Он рассказывал это ровно

и толково, как рассказывают служилые люди, которые много ездили и привыкли, что от того, что они знают, зависит, доедут ли они.

На броде через речку, мелкую, каменистую, с быстрой холодной водой, он слез с мерина, перевёл его, потом вернулся пешком, по колено в воде, и перевёл серую лошадь, держа её под уздцы, потому что серая лошадь встала в воде и не хотела дальше, а Ершов не знал, что с ней делать. Ибрагим переехал сам.

— Спасибо, — сказал Ершов на том берегу.

— Не за что, — сказал Култышев и выжал онучи.

Потом они стояли у брода, пока лошади пили, и Култышев сидел на камне и перематывал онучи, и Ершов спросил его — просто чтобы спросить:

— Огарков какой был в дороге?

Култышев подумал.

— Скупой, — сказал он. Без злобы, так, как сказал бы «рыжий». — Сумку не снимал. Ел своё, не делился. Мне ничего не дал за всю дорогу. Я ему говорю: подьячий, провожатое бы мне, хоть что. Он говорит: провожатое тебе голова даст, медью, по росписи. Я говорю: медью я и так получаю. Он говорит: ну, значит, получишь. — Култышев затянул онучу. — Такой человек. Не худой. Скупой. Он по дворам ходил — у черемисы каждую полтину на зуб пробовал. Медь — на зуб. — Он засмеялся. — Медь-то зачем на зуб? Её хоть грызи.

— А сотник?

— Сотник — тот хороший. — Култышев встал, притопнул, проверяя онучу. — Нас кормил. Мне мёду дал, с собой. Жене. Я ему говорю: чем отдам? Он говорит: ничем. Мы, говорит, гостям даём.

Ершов кивнул. Вода у брода была холодная, лошади пили долго, и он думал о том, что Култышев хорошо говорит о людях: подьячий у него скупой, а не худой, а сотник хороший.

В Арск въехали к вечеру второго дня.

Арск был острог на горе, деревянный, с башнями и пушками на раскатах, — и под острогом посад, русский, а ниже, ближе к дороге, татарские дворы. Пахло навозом и печёным хлебом. Был воскресный вечер. У церкви в остроге звонили к вечерне. На брёвнах у одного из татарских дворов сидели старики в маленьких круглых шапках и смотрели на проезжих.

Ибрагим, проезжая мимо них, сказал им что-то. Старики ответили. Один засмеялся.

— Что сказал? — спросил Ершов.

— Сказал, что мы с подьячим едем к черемисе, — ответил Ибрагим. — Он сказал: зачем? Я сказал: подьячего ищем. Он сказал: того, который у черемисы полтины брал? Я сказал: того. Он сказал: найдёте — не отдавайте им обратно.

— И засмеялся.

— Засмеялся.

— А что тут смешного?

Ибрагим подумал.

— Ничего, — сказал он. — Он старый.

Култышев не остановился у острога. Он сказал, что в Арске на ночь встать — до обеда завтра не выберешься: арский воевода любит расспрашивать, кто едет, куда, зачем, а потом угощать и опять расспрашивать, — и что верстах в пяти за Арском есть деревня, татарская, где он в прошлый раз стоял и где дадут ночевать без расспросов. Ершов, который не хотел, чтобы его угощали и расспрашивали, согласился сразу. Ибрагим посмотрел на Култышева, потом на острог, потом на стариков у двора, и тоже согласился.

Ночевали в татарской деревне, у старика, который говорил с Ибрагимом долго и тихо, а с Ершовым — никак, но постелил ему кошму, чистую, и принёс кислого молока, и Ершов выпил его и уснул, не дождавшись, пока лошадей расседлают.

На третий день лес стал другим.

Ершов не сразу понял, в чём. Деревья были те же — липа, дуб, клён, берёза, — и дорога та же, только уже, колея на одну телегу, с травой посередине. Но лес был не такой, как под Казанью. Под Казанью лес был порубленный, исхоженный, с пнями, с кострищами, с тропами в каждую сторону. Тут пней не было. Деревья стояли старые, толстые, такие, что вдвоём не обхватишь, и между ними — тень, высокая, как в церкви, и прохладная.

И на деревьях были знаки.

Ершов увидел первый, когда серая лошадь остановилась сорвать траву, и он, ожидая, поднял глаза. На стволе липы, на высоте человеческого роста, был вырублен знак — не буква, не крест, а что-то вроде вилки с загнутым зубцом, — и вокруг знака кора наплыла, затянула его край, видно, рубили давно. Выше, на высоте двух или трёх человек, в стволе было отверстие, прямоугольное, закрытое доской, и к доске вела старая обтёсанная жердь с сучьями-ступенями.

— Это что? — спросил Ершов.

— Борть, — сказал Култышев, обернувшись. — Пчёлы. — Он показал на знак. — А это — чья. Ихнее знамя. У каждого своё. У отца было, у сына будет. Кто чужую борть тронет — тому…

Он не договорил.

— Что?

— У них по-разному, — сказал Култышев. — Раньше, говорят, убивали. Теперь — платят. — Он помолчал. — Подьячий тоже спрашивал. Тоже смотрел. Он всё на эти знамёна смотрел. Говорит: как они без грамоты знают, чьё? Я говорю: они знают. Они, говорит, знают, а в книге не записано. Непорядок.

Ершов смотрел на знак.

Потом серая лошадь, дожевав траву, пошла дальше, и он увидел второй знак, на дубе, — другой, похожий на птичью лапу, — и третий, на липе, опять другой, — и понял, что знаки здесь на каждом втором дереве, что лес не ничей, что

весь он поделен и записан, только не буквами, — и что он, Ершов, не может прочесть в нём ничего.

Это ему не понравилось. И он не мог объяснить себе почему.

К Шудерсоле приехали в понедельник, перед закатом.

Сначала услышали собак — сразу много, со всех сторон, — потом увидели дым над деревьями, потом деревья расступились, и открылось поле, сжатое наполовину, со снопами в суслонах, и за полем, на пригорке, — деревня. Избы стояли не улицей, как в русских деревнях, а кучками, по две, по три, вразброс, каждая со своим двором, с амбаром на столбах, с огородом, с плетнём. Над избами был дым — не печной, низкий, белый, а дымок от очагов под навесами: тут, видно, летом готовили во дворе.

А за деревней, за другим полем, ещё не сжатым, стоял лес.

Он стоял не так, как стоял лес вдоль дороги, — сплошной стеной, тёмный, и над ним, выше всех, — несколько деревьев, таких высоких, что Ершов сначала принял их за облако.

Култышев придержал мерина.

— Вон, — сказал он и кивнул на лес за деревней. Он не сказал, что это. Ершов не спросил.

Собаки выбежали навстречу, лаяли на всех трёх лошадей, хватали серую лошадь за ноги, и серая лошадь впервые за три дня пошла рысью — не от страха, а, кажется, от возмущения, — и Ершов, подпрыгивая в седле, держался за луку обеими руками и чувствовал каждой костью, что на третий

день он так и не привык.

В деревне на них никто не вышел. Люди были — Ершов видел их во дворах, у очагов, на огородах: женщины в белом, с чем-то красным на груди и на голове, мужчины в белых кафтанах, дети, — но никто не вышел на дорогу, и никто не перестал делать то, что делал. Только смотрели. Все. Молча.

Култышев повёл их через деревню, к самой большой избе на пригорке, с высоким тыном и с воротами под двускатной крышей.

Ворота были открыты. Во дворе, под навесом, стояла телега — пустая, с поднятыми оглоблями, — и рядом с телегой, привязанная к столбу, стояла гнедая кобыла, сытая, гладкая, вычищенная, и жевала сено из охапки, которую ей кто-то бросил.

— Подьячего, — сказал Култышев. — Телега. И кобыла его.

Серая лошадь, не спрашивая Ершова, вошла в ворота, подошла к гнедой кобыле и стала есть её сено.

Глава пятая. Сотник

Сотник вышел из избы, когда серая лошадь доедала чужое сено.

Он вышел не торопясь, вытирая руки о полотенце, — видно, ел, — и остановился на крыльце, и посмотрел сначала на лошадей, потом на Култышева, потом на Ибрагима, и только потом на Ершова. Ершов, который с трудом слез с седла и теперь стоял, держась за оглоблю огарковской телеги, понял, что его разглядывают последним не по невежливости, а по порядку: сначала то, что понятно, потом остальное.

Сотник был молод. Ершов ждал старика — после Онисимова листа он почему-то был уверен, что сотник старый, седой, с бородой до пояса, — а на крыльце стоял человек лет тридцати пяти, не больше, невысокий, сухой, в белой рубахе с красной вышивкой по вороту и подолу, а поверх неё — в русском синем кафтане нараспашку, не новом, но хорошем, суконном. Борода у него была короткая, тёмная. На шее, поверх рубахи, висел медный крест на гайтане, и Ершов заметил, что гайтан засаленный, старый, — крест носили давно и не снимали.

— Ефрем, — сказал сотник по-русски. Он сказал это мягко, будто «Ефрем» было не имя, а слово с другим смыслом.

— Андрей, — сказал Култышев и снял шапку. — Вот. Привёз. Из Казани. Подьячий — искать. И толмач.

Сотник кивнул. Посмотрел на Ибрагима.

Ибрагим сказал что-то по-татарски — длинно, с поклоном, — и сотник ответил, тоже длинно, без поклона, и они заговорили, и говорили, пока Ершов стоял у оглобли. Ершов потом замечал это не раз: короткие русские слова — «Ефрем», «садись», «ешь», «хорошо» — давались сотнику легко, а как только надо было объяснить что-то длиннее, он переходил на татарский, будто русские слова у него кончались на третьем. Ершов слышал в их речи своё имя — «Тимофей», «Ершов», — и слово «Казань», и ещё что-то, похожее на «воевода».

Потом Ибрагим повернулся к нему.

— Он говорит: добро пожаловать. Говорит: подьячего ждал. Говорит: не думал, что пришлют одного. Думал — пришлют много.

— Скажи — один.

— Я сказал. — Ибрагим помолчал. — Он говорит: это хорошо.

Ершов вспомнил про лист.

Лист лежал у Ибрагима за пазухой, и Ершов вчера на ночлеге, у русского мужика, попросил его на время, и долго читал при лучине, шевеля губами, и запомнил пять слов: «хлеб», «вода», «спасибо», «да», «нет». И ещё одно — первое на листе, которое Онисим написал крупнее других, и под которым стояло: «Так сотнику говорить. Ему понравится».

Он отпустил оглоблю, выпрямился, насколько позволяли

ноги, снял шапку и сказал, глядя на сотника:

— Кугыза.

Сотник посмотрел на него.

Во дворе было тихо. Ершов вдруг заметил, что во дворе, оказывается, полно людей: за тыном стояли, у амбара, у очага под навесом, у ворот, — женщины, мужики, дети, старуха с прялкой на крыльце соседней избы, — и все они смотрели на него. И все молчали. А потом кто-то за тыном — мальчишка, кажется, — фыркнул. И ещё кто-то. И старуха с прялкой отвернулась и затряслась.

Сотник не засмеялся. Он только чуть поднял брови — и сказал Ибрагиму что-то короткое, по-татарски.

— Что он говорит? — спросил Ершов.

Ибрагим помолчал. По его лицу было видно, что он решает, как перевести.

— Говорит: «старик» — это его дядя, — сказал Ибрагим. — Говорит: дяде будет приятно, что русский подьячий из Казани знает его в лицо. — Он помолчал ещё. — Говорит: он передаст.

Ершов надел шапку.

Ужинали во дворе, под навесом, у очага.

Сотник посадил их на лавку, застланную белым войлоком, сам сел напротив, на чурбан, и его жена — молодая, круглолицая, в белом, с той самой красной вышивкой на груди и с чем-то звенящим на голове, чего Ершов не разглядел в сумерках, — поставила на стол хлеб, мёд в деревянной чаш-

ке, творог, лук и котёл с похлёбкой, в которой плавало мясо. Сама за стол не села. Ушла в избу и больше не выходила.

Ершов ел. Он не ел с утра, а в Арске выпил только кислого молока, и похлёбка была горячая, жирная, с травой, которой он не знал, и мёд был тёмный, лесной, с привкусом, будто в нём был дым.

Сотник смотрел, как они едят, и ел сам — мало, медленно, хлеб с луком.

— Спроси его, — сказал Ершов Ибрагиму, — как это было. С подьячим.

Ибрагим спросил.

Сотник отложил хлеб и стал говорить. Говорил он долго, ровно, не останавливаясь, и Ибрагим не переводил, пока он не кончил, — а потом перевёл, тоже ровно, коротко, будто пересказывал выписку.

— Говорит: подьячий приехал с Ефремом, на Казанскую. Говорит: он, сотник, водил подьячего по шести деревням, по всем дворам. Говорит: подьячий брал полтины, записывал. Говорит: всё дали, все дворы, кроме вдовьих, у которых нет. Говорит: кончили здесь, в Шудерсоле, в воскресенье. Вечером подьячий ушёл от телеги к лесу. Говорит: он, сотник, не видел, как ушёл, — он был в избе. Ефрем пришёл к нему утром, сказал. Говорит: собрал мужиков, пошли в лес. Искали до обеда. Не нашли. — Ибрагим помолчал. — Говорит: если бы он был в лесу — нашли бы. Лес наш. Мы в нём каждое дерево знаем.

Ершов посмотрел на сотника. Сотник смотрел на него спокойно, приветливо, с лёгким вниманием, как смотрят на гостя, который спросил то, что все гости спрашивают.

— Спроси: Ефрема в лес не пустили. Почему?

Ибрагим спросил. Сотник ответил одним словом и пожал плечами.

— Говорит: нельзя.

— Почему нельзя?

Ибрагим спросил. Сотник ответил подлиннее.

— Говорит: туда нельзя чужим. Говорит: и своим — без дела нельзя. Говорит: это как у вас в церкви, в алтарь. Ты, говорит, в алтарь пойдёшь?

Ершов не ответил. Он подумал, что в алтарь он не пойдёт, но в алтарь и человек не пропадёт, — и не стал этого говорить.

— Спроси: сбор. Чем давали?

Ибрагим спросил.

— Говорит: медью. Как указ велел. — Ибрагим помолчал. — Говорит: подьячий каждую полтину считал. На зуб пробовал. Говорит: смешной был.

Сотник, услышав по тону, что переводят, кивнул и улыбнулся. Улыбка была хорошая, открытая, с белыми зубами.

— Спроси: сколько дворов дали?

Сотник ответил, не задумавшись.

— Говорит: все. Сто двадцать шесть. Кроме девяти вдовьих. Сто семнадцать.

Ершов кивнул. В росписи, которую он взял у Пантелея, было сто двадцать шесть дворов, и про вдовьи там не было ничего. Сотник знал свои дворы, как Аграфена знала свои кади.

— Спроси: кто видел его последним?

Сотник ответил сразу.

— Говорит: хозяйка последней избы. Видела, как он пошёл к полю. Больше никто. Все были по домам, вечер.

— С кем он говорил перед тем, как уйти?

— Говорит: ни с кем. Сел у телеги, считал, писал. Встал, пошёл.

— Что осталось у телеги?

— Говорит: телега, кобыла. Больше ничего. Сумку взял с собой. — Ибрагим помолчал. — Говорит: ты её видел, телегу. Она у него во дворе. Смотри сколько хочешь.

Всё, что сотник говорил, сходилось с тем, что говорил Култышев, а то, что говорил Култышев, сходилось с тем, что говорил сотник, — и всё было складно, просто и понятно, и от этого Ершову было не по себе, как бывает не по себе, когда отписка сходится с первого раза.

— Спроси, — сказал он. — Можно мне поговорить с теми, кто в лес ходил?

Ибрагим спросил. Сотник развёл руками — широко, гостеприимно.

— Говорит: со всеми. С кем хочешь. Говорит: завтра соберу.

Пока говорили, стемнело. Над очагом поднимался дым, и в дыму вились комары, и дальше дыма не шли. За тыном кто-то играл на чём-то тонком, свистящем, — одну и ту же короткую песню, по кругу. Култышев сидел на краю лавки и ел мёд с хлебом, макая хлеб прямо в чашку, и не говорил ничего — не перебивал, не поправлял, — и Ершов был ему за это благодарен.

Ибрагим вдруг сказал что-то сотнику по-татарски — сам, не по просьбе Ершова. Сотник ответил, засмеялся.

— Что? — спросил Ершов.

— Я ему сказал: хорошо по-татарски говоришь, — сказал Ибрагим. — Он сказал: торговал. Мёдом, воском. В Арск возил, в Казань. Говорит: с татарами торговать — по-татарски надо. С русскими — по-русски не надо. Русские сами всё скажут.

— А где выучился?

— Я не спросил. — Ибрагим помолчал. — У него татарский торговый. Базарный. Цифры хорошо знает. Слова — какие на торгу нужны. — Он подумал. — Остальные слова у него из книги. Из старой. Как у муллы.

— Из какой книги?

— Не знаю, — сказал Ибрагим. — Я так слышу.

Спать их положили в клеть — амбар на столбах во дворе, с лестницей, — на сено, под которым были сложены мешки с чем-то твёрдым, наверно с зерном. В клети было душно и пахло мышами, и комары нашли их через щели в стенах, и

дёготь, который Ершов нанёс на лицо снова, уже не помогал. Култышев лёг внизу, у лошадей, под телегой, — сказал, что под телегой ему привычнее.

Утром Ершов пошёл к лесу.

Он пошёл не к самому лесу — к полю перед ним. Хотел посмотреть, где стоял Огарков, откуда он ушёл, сколько шагов от телеги до края. Култышев пошёл с ним — показать. Ибрагим остался у сотника: сотник обещал к полудню собрать мужиков, ходивших в лес, и Ибрагим сказал, что лучше он посидит при этом, а то сотник соберёт кого захочет.

Огарковская телега, сказал Култышев, стояла в тот вечер не во дворе у сотника, а у последней избы, на краю деревни, — там, где кончили сбор. Отсюда до поля было шагов тридцать. Поле было не сжато — овёс, по пояс, ещё зелёный, — и через овёс шла тропа, узкая, натоптанная, к лесу.

— Тут, — сказал Култышев и показал на начало тропы. — Тут он пошёл.

Ершов пошёл по тропе.

Овёс шуршал, бил по ногам, по рукам. Над полем стояли слепни, ещё не проснувшиеся, тихие. Тропа шла прямо, не петляя, и Ершов считал шаги — сто, двести, — и на трёхстах с чем-то тропа кончилась, и начался лес.

Лес начался не сразу. Между полем и лесом была полоса — шагов в десять — нескошенной травы, высокой, с цветами, и посреди этой полосы, поперёк, лежали брёвна. Старые, серые, без коры, одно за другим, концами друг к другу, —

вдоль всего края леса, сколько хватало глаз. Не изгородь — брёвна лежали прямо на земле, их можно было перешагнуть, — но и не просто брёвна. Кто-то их положил. Кто-то их тут держал.

За брёвнами стояли липы. Первые — молодые, тонкие, — а дальше, вглубь, толще, старше, и ещё дальше, за ними, — те, огромные, которые Ершов вчера принял за облако.

Ершов остановился у брёвен.

Култышев встал рядом. Огляделся. Отмахнулся от слепня, который проснулся и сел ему на шею.

— Тут комар заест, — сказал он. — Погоди, подьячий.

Над брёвнами, над травой, свешивалась с ближней липы ветка — длинная, низкая, почти до земли, — и висела уже над их стороной, над полем. И, прежде чем Ершов понял, что он делает, Култышев достал из-за пояса нож, потянулся — через бревно не шагнул, только потянулся — и одним движением срезал её у самого ствола, и отступил, обмахиваясь.

— Вот, — сказал он. — Хоть отгонять.

Ершов смотрел на липу. На светлый, мокрый срез, на котором уже выступал сок.

Потом он услышал крик.

Кричали с поля — сзади, из овса. Ершов обернулся. По тропе к ним бежал старик — в белом, без шапки, с палкой, — и кричал на бегу, одно и то же, что-то короткое, хриплое. За ним бежали ещё двое, помоложе. А дальше, на краю деревни, у последних изб, стояли люди — много — и смотрели сюда.

Старик добежал, остановился у брёвен, задыхаясь, и посмотрел на ветку в руке Култышева. Потом на срез на липе. Потом на Ершова.

Он ничего больше не кричал. Он стоял и смотрел, и лицо у него было такое, что Ершов отступил на шаг — прочь от брёвен, к полю, — сам не зная почему.

Двое молодых подошли и встали по бокам от старика. Тоже смотрели. Один сказал что-то Култышеву — тихо, сквозь зубы.

Култышев опустил ветку.

— Я ж не знал, — сказал он громко, по-русски, будто громко было понятнее. — Мух отгонять. Не знал я.

Старик посмотрел на него. Потом протянул руку — не к нему, а к ветке, — и Култышев, помедлив, отдал ему ветку. Старик взял её обеими руками, бережно, как берут что-то живое, повернулся и пошёл назад по тропе, к деревне, неся ветку перед собой. Двое пошли за ним.

Ершов и Култышев остались у брёвен.

— Я ж не знал, — сказал Култышев ещё раз, тише, Ершову.

Ершов ничего не ответил. Он думал, что Култышев знал: туда нельзя, — он сам сказал это в избе. Но ветка висела не там, а здесь, над полем, и Култышев через бревно не шагнул. Можно ли тронуть то, что свесилось из рощи на чужую сторону, — этого Култышев мог и не знать. Ершов тоже не знал.

Но Култышев стоял рядом, растерянный, красный, с но-

жом в руке, который он забыл убрать, и почёсывал укушенную шею, — и был похож на человека, который сделал глупость, а не на человека, который сделал что-то нарочно. Ершов не умел отличить одно от другого.

Когда они вернулись в деревню, двор сотника был пуст.

Ибрагим сидел на лавке под навесом один. Мужиков, ходивших в лес, не было. Сотника не было. Жена сотника выглянула из избы, увидела их и закрыла дверь.

— Где все? — спросил Ершов.

— Ушли, — сказал Ибрагим. — Пришёл мальчишка, сказал что-то. Сотник встал и ушёл. Мужики ушли. — Он посмотрел на Култышева, на его нож, который тот так и не убрал. — Что вы сделали?

Ершов рассказал.

Ибрагим долго молчал.

— Ветку, — сказал он наконец.

— Ветку.

— С липы.

— С липы.

Ибрагим поднял глаза к небу, потом опустил, потом снова поднял. Ершов никогда не видел, чтобы он так делал.

Сотник вернулся к вечеру. Он прошёл через двор, не глядя на них, зашёл в избу, вышел, — уже без кафтана, в одной рубахе, — и сел на тот же чурбан напротив, и долго молчал. Потом сказал Ибрагиму несколько слов. Ровно, без злобы, без улыбки.

Ибрагим перевёл.

— Говорит: завтра мужиков не будет. Говорит: и послезавтра. Говорит: карт — это его дядя, тот, старик, — с вами говорить не будет. Говорит: и ему, сотнику, теперь трудно с вами говорить. — Ибрагим помолчал. — Говорит: я им сказал, что вы искать приехали, а не рубить. Они мне поверили. Теперь не верят. Ни вам, ни мне.

— Скажи — Ефрем не знал.

Ибрагим сказал. Сотник выслушал, посмотрел на Култышева, сидевшего у телеги, и ничего не ответил. Только чуть поднял брови — так же, как вчера, когда Ершов назвал его стариком.

Вечером, когда Ершов пошёл к колодцу умыться, за ним увязались дети. Трое, мал мала меньше, босые, в белых рубашонках до пят. Они шли за ним шагах в десяти, не отставая и не приближаясь, и когда он обернулся, остановились и посмотрели на него круглыми глазами.

Потом старший, лет семи, сказал:

— Кугыза.

И все трое прыснули и убежали.

Глава шестая. Ждать

Хозяйка последней избы закрыла дверь, когда Ершов был ещё у плетня.

Он видел её — немолодую, плотную, в белом, с тёмным платком на голове, — она стояла на крыльце и вытряхивала половик, и увидела его, и Ибрагима за ним, и, не дотряхнув, ушла в избу. Дверь закрылась без стука, плотно. Потом в маленьком окошке рядом с дверью задвинули доску.

Ершов постоял у плетня. Во дворе ходили куры. У стены амбара сидел на привязи пёс, рыжий, лохматый, и смотрел на Ершова, не лая, будто и ему велели молчать.

— Скажи, — сказал Ершов Ибрагиму, — что мы только спросить. Про подьячего. Что она видела.

Ибрагим подошёл к плетню и сказал по-татарски — громко, в сторону закрытой двери, — длинно, вежливо. Потом подождал. Потом сказал ещё раз, короче.

Дверь не открылась. Пёс зевнул.

— Она по-татарски знает? — спросил Ершов.

— Не знаю, — сказал Ибрагим. — Если знает — слышала. Если не знает — тоже слышала. — Он отошёл от плетня. — Это одно и то же.

Было утро среды. Ершов проснулся в клети на рассвете от того, что на него кто-то смотрел, — открыл глаза и увидел в щели между досками глаз, круглый, детский, — и глаз сразу

исчез, и внизу кто-то прыснул и убежал. Потом он долго лежал и считал укусы на руках. Насчитал сорок и бросил.

Сотник с утра был в поле. Жена сотника вынесла им хлеба и творогу, поставила на лавку под навесом и ушла, не сказав ни слова. Култышев колол во дворе дрова — сам, без просьбы, — и сложил у очага поленницу, ровную, как в стрелецкой избе, и жена сотника, выйдя за водой, посмотрела на поленницу и тоже ничего не сказала, но, кажется, не рассердилась.

После последней избы Ершов пошёл в поле.

Жали рожь. На краю поля, где кончалась деревня, работали человек двадцать — мужики, бабы, подростки, — серпами, в ряд, низко согнувшись, и за ними оставались снопы, а за снопами — стерня, светлая, колючая. Солнце уже поднялось и пекло. Ершов шёл по стерне, и стерня колола через сапоги.

Он узнал двоих — тех, что бежали вчера за стариком к роще. Они жали рядом. Когда Ершов подошёл, они не разогнулись.

— Спроси, — сказал Ершов. — Они в лес ходили, когда искали?

Ибрагим спросил. Один из двоих, не поднимая головы, сказал что-то короткое. Второй ничего не сказал — срезал горсть ржи, положил, срезал другую.

— Что?

— Говорит: работаем.

— Скажи: я подожду.

Ибрагим сказал. Мужик срезал ещё горсть, перевязал сноп жгутом из той же ржи, бросил его за спину и разогнулся — не для Ершова, а чтобы перейти на другое место, — и посмотрел на Ершова сверху вниз, хотя был ниже его на полголовы.

— Не знаю, — сказал он по-русски.

И согнулся снова.

Ершов стоял на стерне. Вокруг жали. Никто на него не смотрел. Одна из баб, подальше, запела — тихо, сквозь зубы, на одной ноте, — и другие подхватили, и песня пошла по ряду, и Ершов понял, что так они будут жать до вечера, и петь, и не разгибаться, и не скажут ему ничего, — и что ничего с этим нельзя сделать: нельзя же приказать человеку, чтобы он не жал.

Он постоял ещё, потом пошёл назад. Колючая стерня, слепни, жара.

— «Не знаю», — сказал он Ибрагиму на краю поля. — Это он по-русски.

— Это все знают, — сказал Ибрагим. — Это первое русское слово, которое тут учат. — Он подумал. — Второе — «нету».

После обеда Ершов осматривал телегу.

Сотник сказал — смотри сколько хочешь, — и Ершов смотрел. Телега была казённая, из воеводской конюшни, — Ершов узнал клеймо на оглобле, то же, что на седле серой лошади, — старая, разбитая, с одним колесом, перетянутым

свежим лыком: видно, чинили в дороге. В кузове лежала солома, примятая, — Огарков на ней спал, — и под соломой Ершов нашёл: рубаху, запасную, свёрнутую, чистую; онучи; деревянную ложку; рожок для чернил, сухой, с коркой на дне; два пера, перетянутых ниткой, — как у Огаркова на лавке в избе, — и горшок.

Горшок был глиняный, небольшой, с отбитым краем, пустой. Ершов поднёс его к лицу. Пахло мёдом. Горшок был вылизан изнутри — дочиста, до глины, пальцем или языком, — так, как вылизывают дети или очень голодные люди.

— Мёд, — сказал Ибрагим.

— Мёд.

— Сотник всем давал. Ефрем говорил — ему дал. Жене.

— Ефрему дал с собой. — Ершов повертел горшок. — А этот кто дал?

Ибрагим пожал плечами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.